

направлением народничества» и осуждать «хождение в народ», в котором легкомысленно видит только «маскарад», «водевиль с переоцениваем, трагический водевиль» (60) — одинаковая цена и этим его мнениям. Вообще русская культурная традиция — сама по себе, а г. Айхенвальд — сам по себе, и он это блестяще доказал своей невероятной характеристикой Белинского. Она не может не вызывать глубочайшего возмущения и нравственного негодования не потому, что Белинский — «идол», «икона», «легенда», а как раз наоборот, потому, что он — живой человек, много страдавший, много заблуждавшийся, но всегда страстно горевший огнем искания. Его можно судить и осуждать, но, во-первых, со знанием фактов, а во-вторых, только в исторической обстановке его эпохи. Г. Айхенвальд одинаково свободен от обоих этих условий, — и потому его характеристика Белинского пройдет мимо истории литературы.

Зато она сослужила другую службу, хотя и небольшую: дала возможность обрисовать писательский облик самого ее автора. Ошибочный в корне метод, полное отсутствие чувства меры, постоянное многоглаголание и сладкоглаголание, крайности в хвале и в хуле, удачные характеристики выбранных «по плечу» авторов, неумение сохранить пропорции и перспективы, — при всем этом — несомненная талантливость: вот, думается мне, верный *силуэт г. Айхенвальда*. Есть в этом писательском облике и светлые, и темные стороны, но в общем итоге ярче всего характеризуется он словами самого же г. Айхенвальда: *его неправда компрометирует его правду*. И своим выступлением со статьей и книгой о Белинском он лишний раз блестяще это доказал.



В. В. РОЗАНОВ

Споры около имени Белинского

Горячий спор вокруг имени Белинского. — вокруг имени и репутации его моральной, эстетической, умственной, всяческой... Уже зимой этого года, от приехавших из Москвы друзей, я слышал о том чрезвычайном волнении, какое происходит в московских аудиториях

(университета и женских курсов) по поводу выступления против Белинского известного московского критика и историка русской литературы г. Айхенвальда¹. На резкие нападения г. Айхенвальд ответил книгой, только что выпущенной им — «Спор о Белинском», где он, так сказать, с документами в руках, подтверждает свои тезисы. И вот сейчас я читаю в московских газетах новые ожесточенные нападения на эту книгу проф. Сакулина и известного г. Иванова-Разумника².

Не скрою, что когда еще зимою я услышал об этих спорах, — будто бы введущихся с крайним ожесточением, — в душе у меня поднялось что-то гадкое и дурное, точно я нечаянно выпил уксуса и не знаю, что с этим сделать. «Ах, все это *правильно*, но всего этого *правильного не следовало говорить*»... Поднялась «неприятная история в русской литературе», которой «поднимать не следовало»...

Дам маленький факт, который, может быть, будет интересен обоем спорящим сторонам: в мою пору лекции по истории русской литературы в Московском университете читали Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов, — два ума европейского чекана, европейского закала. Едва ли нужно говорить, что эти два ума если не вполне, то в значительной степени создали *науку истории русской литературы*. Т. е. не кое-какие «мнения» и не кое-какие «компиляции» в этой области, всегда наполнявшие и всегда волновавшие нашу журналистику, — а они бросили из ума своего, знакомого с историческим освещением всех литератур Запада, огромный свет на происхождение и на историю русской словесности, устной, письменной, древней и новой. И вот, ни у Буслаева, ни у Тихонравова я никогда не слышал даже упоминания имени Белинского.

Не удивительно ли?

Факт. Его могут засвидетельствовать все, слушавшие одновременно со мною лекции в Московском университете.

Причем ни у Тихонравова, ни у Буслаева никакой не было враждебности или даже неприязненности к Белинскому. Они его не упоминали, потому что в этом не было никакой необходимости, никакой нужды! «В ходе преподавания» им «не приходилось» его упомянуть, потому что все его взгляды и теории были «не нужны» для объяснения истории и вообще фактов истории русской литературы.

Вполне удивительно. Когда я спрашиваю себя, каким образом это могло произойти, то на ходу объяснение в *единственном* и притом *скользящем* упоминании не то Буслаевым, не то Тихонравовым имени Белинского: один или другой из них сказал, что, кроме господствующего теперь *исторического метода* в изучении явлений литературы, «был еще господствовавший в 40-х годах *метод эстетический*,

представителем которого был тогда Белинский». И больше — ничего. Ни — развития, ни — подробностей. В словах профессора звучал этот смысл: «все это — наивности и пустословие», — которое «оставлено, как вчерашний день науки».

И действительно: перед громадой *исторического освещения* фактов словесного творчества являлись каким-то несчастным лепетом «эстетические оценки» тех же фактов, просто — по бессодержательности, просто — по ненужности; просто — по безынтересности.

И после университета, учителем и прочее, мне было просто скучно читать Белинского, и скучно читать о Белинском, и скучно — разговаривать о Белинском. «Нет содержания. Нет хлеба. Не нужно».

А вражды — никакой.

* * *

«Прости, прекрасное прошлое. Мы ушли от тебя». Вот отношение. Теперь слушайте же другие воспоминания.

* * *

В третьем классе гимназии, оставленный «на второй год», я плохо учился. Латынь и прочее. И был у меня репетитор, приснопамятный Алексей Николаевич Николаев, светлую память коего я храню до сих пор, ибо он, кажется, всему доброму меня научил, — всему светлому и идейному. Жил я в доме его матери, и, следовательно, он не то что «давал мне уроки», а жил и занимался со мною. Тогда имен я не знал, а теперь знаю, — и знаю, что он был «народник и теоретический социалист». Он был учеником VII класса гимназии (тогда гимназии были семиклассные, а не восьмиклассные, как теперь). Как сейчас помню его золотистые, чуть-чуть вьющиеся волосы, мягкое, влекущее к себе обращение, с «уклончивостью» от старших, от родителей, от начальства. И этот общий тон его духа: — «Эх, что делать, — надо терпеть. Всего говорить не приходится. Но — времена переменчивы». И как будто он брал тебя руками — и куда-то уносил в «переменчивые времена». Ни гимназия, ни университет, никакая наука и никакая серьезность не заменили и не могли заменить того вдохновения, какое он давал: «собою» и «из себя». Готовился он (тогдашний дух эпохи), конечно, — в медики, и, конечно, — в реалисты, «быть около народа» и «помогать народу». Это было в Симбирске, в 1872–1874 годах, а там — благотельно была основана «Карамзинская библиотека»,

с бесплатным отпуском всем жителям книг на дом, при взносе трехрублевого залога. Весь город брал книги, и весь город действительно просвещался из этой библиотеки, кажется, — прекрасно организованной и поставленной. Вот, однажды, он приходит и, бросая книгу на мой столик, говорит: «Вот, что, Вася, ты все романы читаешь, а пора тебе и за серьезное приниматься. Прочти тут “Литературные мечтания”».

...Годы (меня поздно отдали в гимназию) — 15 лет. А каждому понятно, что такое 15 лет. Уже «17 лет» — совсем другое; и «14 лет» — тоже другое. 15-й год в жизни переживается только один раз, — и счастлив тот, у кого именно этот год переживается хорошо... Едва я раскрыл книгу, как необыкновенная живость и свежесть мысли, язык огненный, смелый, «вступающий в борьбу со всем», — ну, в борьбу с тогдашним, Белинского, миром, но которую я сейчас же перенес мысленно на свое время, ибо времени Белинского вовсе и не знал, — все это до того «схватило и увлекло меня», что, зная, что нельзя держать дольше двух недель библиотечных книг, и чувствуя невозможность расстаться «с таким мыслителем, как Белинский», я стал немедленно же переписывать «Литературные мечтания» себе в собственность, т. е. себе в тетрадь...

Что увлекало? Мысли ли? О, конечно, и — мысли. «Все так неопровержимо». Теперь-то я вижу, однако, что, конечно, не «мысли», которых проверить я и не имел никаких средств в свои 15 лет и с опытом трех классов гимназии: а увлекло собственное рождение в себе другой души, новой и лучезарной, которой восприимчиком и акушером был Белинский, так гармонично сливавшийся с моим чудным репетитором. Что же это был за мир и новая душа? В чем суть? По «закоулочкам» нашей жизни вообще много грязи, много мелкого, грубо! о, и отчасти определенного злого и черного. И — гимназия, и быт. Но, пожалуй, более чем «злого» — много слишком обыкновенного, вульгарного, мещанского, низменного. Да, в самом деле, оглянемся: в Средние века *строились*, т. е. были «насущным теперь», готические кафедралы, с чудесами вымысла в них, фантазии и необыкновенного: были рыцари и «оруженосцы» около них, которыми, естественно, так хотелось бы быть гимназисту; были турниры; были замки и вечные войны около них. Все было *красиво и нарядно, опасно и занимательно*. Что же такое «XIX-й» век и что он дает мальчику и девушке? Гимназия, уроки, долбеж, учителя, т. е. чиновники. Кругом — мещанская жизнь, т. е. служба и жалованье. И так все это серо, так все это (идейно) дождливо, облачно, безнадежно, тускло, что всякий, кто сколько-нибудь одарен воображением и сердцем, — делает величайшие усилия прорвать

этот тоскливый «дождь» обстановки и души и открыть путь к какой-нибудь *дали*, к чему-нибудь «бесконечному», к чему-нибудь более узорному, красочному и занимательному. Повторяю: возьмем ли мы эпоху великих королей и королевских войн, эпоху революции, эпоху реформации, эпоху Средних веков — везде мы найдем нечто питающее воображение и сердце юноши; но в наше время, «такое серьезное и педагогическое», мы — ничего этого не найдем. Великая сродность нашего времени с социализмом, сродность с ним слоев населения, погруженных в самый безнадежный серый труд, — как я думаю, объясняется не столько реальным расчетом «покончить с печальной действительностью», сколько этим романтическим переносом в «будущее» тех узоров и красок, без которых решительно не может обходиться душа человеческая. Социализм — роман будущего, вот в чем секрет. А без «романа» человек не может жить. Без «романа» в религии, без романа — в быте, в чем-нибудь. Позвольте, «даль» — всегда нужна человеку. «Безбрежность» — нужна ему. Какая же, черт возьми, «безбрежность» в буржуазной жизни и в переговорах дипломатов соседних стран?! Что «мне» — до них! А жить, *мечтать* и *творить*, хочется каждому «мне». И каждое «я», чем больше оно угнетено, чем больше оно сжато, задушено и оскорблено своею «норкой» — пытается вырваться из нее «вдаль», которая обобщенно получила имя «социализма». Пусть это — фантазия, но она — необходима. Как для Средних веков — схоластические споры, для греков — метафизика Платона, для Рима — «власть над миром». Вот. Ну, хорошо. Вернемся же к Белинскому. Он расторгал этот «дождь действительности», «дождь будней», исторических будней, и всякую душу вводил в необозримый мир, который можно назвать обобщенно «идейностью»...

Правда, он занимался только «критикой». Но ведь в России под критикой всегда разумеется «черт знает что». Разумелось — «решительно все». И потому, что у нас всегда была критика «по поводу»... Ну, а «по поводу» можно наговорить и политики, и социологии, и философии, и «родителей осудить», и «церковь задержать»...

«По поводу» — это и прошедшее и будущее, это — вперед и назад, и везде «по сторонам».

Так «русские критики» были всегда в сущности «русскими философами». Немного «кустарными», но это ничего. Ведь Россия вообще дает впервые «историю» восточной половине Европы, и тут естественно все — «кустари», работают «своими средствами» и «на свой риск». На Западе надо ссылаться на Средние века, Средние века ссылались на римлян, как римляне ссылались на греков. Ибо там исторические пласты, исторические слои, многочисленные этажи одного и того же

здания. А Россия есть просто «фундамент» Восточной Европы: и потом будут ссылаться на «опыт и мнения русских», а русским-то на что же сослаться? «Строим впервые» и на девственной почве.

Потому «русская критика» есть в то же время «русская философия», и — политика, и — социология. У нас «критика» совсем не то, что в Германии, в Англии, во Франции. И не может быть *этим*. Там, в сложных напластываниях цивилизации, есть «разделение труда». У нас мужик «все сам работает», а критик — «за всех один думает». Вот откуда вытекло наше «по поводу»... Это и не каприз, и не случайность. Это отнюдь не произвол.

Ну, хорошо. Перехожу далее и именно к Белинскому. У русских Белинский был то же, что у греков Фалес, — муж «во всем ошибавшийся», но — «первый». Как Фалес устранил эмпирическое созерцание действительности и начал *первый* искать каких-то современникам его непонятных «элементов всех вещей», «первых начал всего сущего», так у нас Белинский «отстранил действительный дождь» северных холодных стран, северных неинтересных стран, — и пошел искать «иногo голубого неба». Определенные: живым и деятельным своим умом, умом закругленным и (по *темам*) универсальным, он стал «критически изучать» все вещи, изучать их «по поводу», — пытая об их «основательности», разумности и благости. Вот чем была его критика, столь не похожая на германскую, английскую и французскую с тамошним «разделением» труда, и вот откуда «критика» его получила такой волнующий и возбуждающий и воспитательный характер. Скажите, пожалуйста, он будто бы «неверно оценил Пушкина» (для примера); пусть так, но он — «научил нас добру»! Он «менялся» (тезис г. Айхенвальда): да, и научать каждого *бросать сейчас же все*, что оказалось бы ложным! Вообще, у него был, у Белинского был, какой-то *метод нравственного воспитания*, — совершенно безотчетно ему врожденный, и вот этим-то методом он и брал. Ведь и про Гегеля говорят, что у него только «метод», а не истины. Нечто подобное, но только в другой сфере, и, пожалуй, в сфере широчайшей — было у Белинского. Как-то необъяснимо в своем лице, в своем способе относиться ко всем вещам, первоначально — к вещам «литературным», а потом и «вообще», «по поводу», — он дал какой-то «моральный канон» русскому человеку, русскому уму, русскому сердцу, русскому характеру... Он положительно «наложил свой образ» на «всех нас», и с тех пор и до настоящего времени, почти до нашего времени, мы все имеем в душе, в методах мыслить и относиться к реальному миру, «нечто от Белинского»...

Это длилось полвека...

Ну, а за «Фалесом» пришел Анаксимандр, были или будут Пифагор, Платон и прочее. Но Фалес — первый, и везде во всякой истории философии первым назовут «Фалеса», — «который, впрочем, во всем ошибался» и «был еще слишком наивен». Здесь явно «ошибки» ничего не значат, ввиду метода, и именно «метод души», как я назвал. «Канон нравственного суждения», «канон русского суждения». Тут есть и русская бесшабашность», и «русская торопливость», и «русская горячность», и «русская правда»; «русский талант на все», русский «вкус во всем». Ведь как мало учился Белинский: выгнали из университета! А позвольте, — на что он не дал отклика, отзыва, о чем он не высказал своего горячего взгляда, часто *первого* (в русском мышлении) взгляда. Белинский — это энциклопедия; энциклопедия мыслей, идей, взглядов, оценок, слов... Да, господа, даже и «слово» должно было родиться, и *его* кто-то родил. Белинский и был таким человеком на Руси, который «родил слова на все», «родил слова обо всем»; и если Айхенвальд и многие другие называют его «фразером», то я отвечу, что «надо родить и *фразу*», особенно в России, в русской-то первобытности, в русском-то все еще «первом этаже». Да, «фразерства» много у Белинского, — горячего, хорошего фразерства, с румянцем на щеках, с румянцем начинающейся чахотки... Это-то всегда надо помнить. Русский «патриот» пошел от Карамзина, певец — от Пушкина, ученый — от Ломоносова. Но от Белинского пошел кто-то еще важнейший, еще более первоначальный и еще более обобщенный: русский «идейный человек», горячий, волнующийся, спешащий, ошибающийся, отрекающийся от себя и вновь и вновь ищущий истины...

Ищущий — *лучшего*...

Ищущий — *другого, чем что есть*...

Не от Грановского, который был только *историк*, не от Герцена, который был только *политик*, и вообще ни от кого другого, а именно от *одного* Белинского пошел этот тип немножко «вечного странника» и «бездомного скитальца» на Руси, который ищет в неопределенных и безбрежных чертах чего-то «лучшего, чего *еще нет*», и «правды, которая *не осуществлена*». Могло бы и не быть такой фигуры в начале нашей истории. В Германии, в Англии, во Франции решительно такой фигуры не было, с ее прекрасным «не удалось», с ее бесконечным «все еще — *нет*», с ее неуловимым — «иду и *не нашел*»... Прекрасны именно неудачи Белинского, прекрасно, что он не был очень образован и, особенно, твердо образован. Прекрасно, что он был иносказательно горбат и некрасив. Ах, эти «красавцы», «неошибающиеся красавцы»: надеели они, скудно с ними! Пусть нас ведет вдале именно слабый, именно заблуждающийся Белинский, с запасом огня и неустанности, какой в нас не хватает...

Причем все мрачные слова о нем, какие сказал, например, кн. Вяземский (приведены у Айхенвальда), какие сказал Достоевский, какие (по воспоминаниям Брюсова) говорил приснопамятный Бартенев, издатель «Русского архива»³ — пожалуй, верны, да и, конечно, верны. Белинский все-таки был с чахоткой, что для литератора, конечно, качество, но для домохозяина — болезнь, неудача и убыток. Белинский выразил страстно и мучительно и прекрасно «искательную», «ищущую», «блуждающую» и «скитальческую» часть человеческого образования и человеческой судьбы; но он совершенно не выразил, а до известной степени и отвергнул вторую и столь же важную половину человеческой истории и задачи: строить, созидать, класть методически камень за камень в дом. Для Белинского не было «дома», а только «квартиры» и «квартирки». Даже — «чердачки». Белинский основал русскую мечту; но он же основал и русский нигилизм. Он совершенно столько же заслужил благословения, сколько заслужил и проклятия: увы, судьба и венец вообще множества замечательных личностей. Он испортил в значительной части «хозяйственную сторону» русской работы, — и за это Бартенев, так любивший русскую положительную историю, его называл не иначе как ругательным именем. Господа: но не судьба ли это вообще людей, что они все бывают «односторонни», а Господь для исправления этого и посылает нам «многих». Будем страстно *созидать*, страстно *благословлять* свое прошлое, страстно верить в *определенный завтрашний день* и исполнять стойко *работу на сегодняшний день*: вот чем, а не мечтательными порицаниями (у Айхенвальда) мы исправим односторонность Белинского и выровняем свой исторический корабль, который действительно накренил в одну сторону Белинский...

Но отнимать его имя у России?.. Россия заплачет. Да и не надо во все. Кто же бранит свою старую няню, хотя и беззубую. А Белинский был для нас всех няней. Он нас всех спас, и не раз, от отчаяния. Знаете ли, господа, что без Белинского было бы гораздо больше самоубийств на Руси, и главное — они появились бы гораздо раньше. Он нас спасал от отчаяния в самые страшные минуты, всегда говорил, что есть еще «впереди». Спасал в самые юные, в самые хрупкие годы. Есть сотни и тысячи, я думаю — десятки тысяч русских людей, которые *всем* обязаны Белинскому; и едва ли есть кто, кто был бы *ничем* ему не обязан. Даже Достоевский: как он был обязан Белинскому, хотя потом и проклял его. Это очень символично, показательное и, так сказать, «пророчесвенно» для будущего, говоря языком Достоевского же. Действительно, всю жизнь идти за Белинским положительно «смердно» (так отозвался о Белинском Достоевский); становится

каким-то фразерством и политической риторикой, социологической риторикой — отвергать «сегодняшний день» во имя «завтра» и «работу» во имя «мечты». Есть чахотка изнурительная, и такова «чахотка Белинского» (т. е. навеваемая им, по его примеру и образцу), если ему предаваться слишком. Вообще «Фалес прошел» и «от Фалеса надо уходить». Но — «да будет имя Фалеса благословенно».

Вот мне кажется, что надо иметь в виду и что об этом деле надо сказать *окончательно*. Айхенвальд прав — Айхенвальд не прав, Иванов-Разумник не прав — Иванов-Разумник прав. «А надо всеми Бог, и да живет наша Русь».

Белинский и Достоевский

Гораздо раньше г. Айхенвальда в истории русской критики и, вообще, в русской литературе указывалась крайняя недостаточность Белинского. Указывали на его общую незрелость, утомительную молодость, соединенную с крайним самомнением и уверенностью тона. Страхов, Аполлон Григорьев, Юр. Николаев (псевдоним Говорухи-Отрока), в особенности — Достоевский говорили раньше Айхенвальда то же, что сказал Айхенвальд. Да и вообще это было «общее место» в суждениях серьезных людей, что Белинский — совершенно недостаточный ум, что говорить о *глубине* Белинского как-то странно... Отчего же только теперь, когда «сказал и Айхенвальд», вдруг поднялась вся печать и статьям «О Белинском и Айхенвальде» нет конца... Нужно говорить «Достоевский и Белинский», «Толстой и Белинский» — и совершенно нет нужды сопоставлять: «Белинский и Айхенвальд». Нужно брать соизмеримые, равнозначащие величины и силы, нужно брать действительные соперничества в идейном и духовном мире. Потому что «за Достоевского» и «за Толстого» упор, конечно, так же велик, как «за Белинского». Тут должен каждый что-то решить в уме своем. Тут должен каждый что-то решить в сердце своем. Тема эта действительно стоит в нашем обществе и литературе, — не решенная, лениво обходимая. За нее надо взяться и преодолеть ее.

Вот что пишет г. Иванов-Разумник в фельетоне «Русских ведомостей», разбирая книгу Айхенвальда «Споры о Белинском»:

«После этого чему же удивляться, если этот “адвокат дьявола”, как он сам себя называет, приводит даже известные слова Достоевского: